

# Над пропастью во ржи

**Автор:**

[Джером Сэлинджер](#)

Над пропастью во ржи

Джером Дэвид Сэлинджер

Загадочная душа СэлинджераИнтеллектуальный бестселлер

Читайте книгу в новом переводе

[url=http://www.litres.ru/pages/biblio\_book/?art=24314756]Ловец&lfrom=201227127  
на хлебном поле[/url]

Писатель-классик, писатель-загадка, на пике своей карьеры объявивший об уходе из литературы и поселившийся вдали от мирских соблазнов в глухой американской провинции. Единственный роман Сэлинджера, "Над пропастью во ржи" стал переломной вехой в истории мировой литературы. И название романа, и имя его главного героя Холдена Колфилда сделались кодовыми для многих поколений молодых бунтарей – от битников и хиппи до современных радикальных молодежных движений.

Роман представлен в блестящем переводе Риты Райт-Ковалевой, ставшем классикой переводческого искусства.

Джером Сэлинджер

Над пропастью во ржи

## Джером Дэвид Сэлинджер

Джером Дэвид Сэлинджер – один из самых популярных и, пожалуй, самый таинственный персонаж новейшей литературной истории США. В атмосфере рекламы, гласности, публичности, что сопутствует славе в Америке, Сэлинджер избрал положение «писателя-невидимки». Он стойко сопротивлялся настойчивым попыткам представителей средств массовой информации добывать и выставлять на всеобщее обозрение факты его личной жизни. Его не просто читали: в 50-е – начале 60-х годов сложился своеобразный культ Сэлинджера – обожание поклонников и повышенная активность «литературно-критической индустрии» США. Но кумир читателей-любителей и читателей-профессионалов Сэлинджер практически никогда не давал интервью, не высказывался по проблемам литературного мастерства, не читал курсов по теории прозы. В отличие от многих коллег по перу, как и он, проходивших испытание успехом, Сэлинджер совершенно не стремился к увеличению продукции, а начиная с 1965 года вообще перестал публиковаться, прервав или, может быть, навсегда оставив литературную карьеру в зените славы. Это заслужило ему титул «Греты Гарбо от литературы» и еще больше повысило интерес к его личности. Журналисты и литературоведы подробно изучали доступные факты его биографии – то, что его герой Холден Колфилд окрестил «давидкопперфилдовской мутью», – но сенсационных открытий и прозрений не последовало. Формированию этого необычного писателя способствовали вполне заурядные обстоятельства.

Джером Д. Сэлинджер родился в 1919 году в Нью-Йорке, в семье торговца копченостями. Он сменил не одну школу, прежде чем в 1936 году получил аттестат о среднем образовании. Уже тогда он пробовал писать рассказы, но отец – Сол Сэлинджер – надеялся, что сын пойдет по его стопам и будет «делать дело». Перед войной отец и сын отправляются в Европу. Сочетая полезное с приятным, Сэлинджер-младший знакомится с культурными памятниками Старого Света и вникает в технологию колбасного производства. «Полезное» юному Сэлинджеру не пригодилось: по возвращении в Америку он всерьез задумывается о литературной карьере. В 1940 году журнал «Стори», открывший дорогу в литературу многим мастерам американской прозы, в том числе Т. Уильямсу, У. Сарояну, Н. Мейлеру, публикует рассказ Сэлинджера «Молодые люди». За дебютом последовали публикации рассказов в журналах «Кольерс», «Сатердей ивнинг пост», затем в «Харперс» и «Нью-Йоркере». Его охотно издают и читают, но для самого Сэлинджера это пока лишь черновые наброски.

В 1942 году Сэлинджера призвали в армию, а в 1944 году он в составе союзных войск высаживается в Нормандии. Опыт тех лет – горький, болезненный, трагический – сыграл важную роль в становлении его писательского таланта.

В конце 40-х – начале 50-х годов Сэлинджер создает свои лучшие рассказы, а в 1951 году выпускает роман «Над пропастью во ржи», ставший настольной книгой не одного поколения американцев. Да и не только американцев: по числу переводов на другие языки «Над пропастью во ржи» занимает одно из первых мест в послевоенной литературе США. Успех повести парадоксальным образом помог автору совершить побег от... успеха. Он покупает в Корнише, штат Коннектикут, дом, который становится его крепостью в буквальном смысле слова: увидеться с Сэлинджером все сложнее и сложнее, пока наконец доступ не оказывается и вовсе закрытым. Холден Колфилд мечтал о том, чтобы с любимившимся писателем «можно было поговорить по телефону когда захочешь». Многие поклонники Сэлинджера мечтали бы поговорить со своим кумиром по душам с глазу на глаз или по телефону, но единственная форма общения, предоставленная Сэлинджером читателям, – через книги. В конце 50-х – начале 60-х годов он работает над завершением цикла о семействе Глассов. Последний фрагмент – новелла «16 Хэпворта 1924 года» – увидел свет в 1965 году. С тех пор о Сэлинджере мало что известно. Отсутствие информации рождает мифы. Говорили, что он поступил в буддийский монастырь, другие утверждали, что он попал в психиатрическую клинику. На самом деле он живет с женой и сыном все там же, в Корнише. Как свидетельствуют очевидцы, в саду для него выстроен специальный бетонный бункер, где он ежедневно проводит много времени, но работает ли он над «большой новой книгой», как втайне надеются многие его поклонники, – неизвестно.

Опубликованная в 1951 году повесть «Над пропастью во ржи» могла нравиться или не нравиться, но равнодушным, кажется, не оставила никого. Даже литературные критики, утратив профессиональное хладнокровие, сердились или защищали Холдена так, словно он был реальным и хорошо знакомым лицом. Поклонников у повести и ее героя оказалось все же много больше, чем противников. Книга Сэлинджера удивляла необыкновенной искренностью, подлинностью, откровенностью. Стремление Холдена Колфилда говорить о себе и окружающих без умолчаний, желание тесного человеческого контакта с миром (и с читателями), попытки выразить все, что творилось в душе, – сбивчиво, путано, перемежая сокровенные признания напускной грубостью, жаргонными словечками, прикрывая ранимость иронией и самоиронией, – все это определяло неповторимое обаяние книги, рождало доверие между читателем и рассказчиком, которому многое прощалось именно потому, что он живой.

Нашлись, правда, критики, обвинявшие героя, а с ним и автора (их постоянно и совершенно напрасно отождествляли) в легкомыслии, в неуважении к общественным нормам, в злостном нигилизме и даже в опасном смутьянстве. Но такие оценки казались неубедительным брюзжанием ретроградов на фоне отзывов Фолкнера и Гессе, приветствовавших роман как смелую победу художника, наконец-то сообщившего то, что мир давно должен был услышать. Вполне житейская и камерная история нервного срыва в жизни одного подростка была прочитана как иносказание о глубоком неблагополучии нации, громко твердящей о своем благополучии.

Особенность обыденного мировосприятия состоит в том, что в силу естественной «экономии энергии» очень многое в окружающей реальности автоматизируется, воспринимается как нечто само собой разумеющееся и привычное и благодаря этой привычности начинает казаться нормальным и истинным. Оттого-то время от времени человек испытывает потребность взглянуть на мир свежим взглядом – как бы со стороны, как бы впервые. Эту потребность призвано удовлетворять искусство – в том числе и искусство слова. Сэлинджеровский эффект очуждения строится – как это не раз делалось в мировой литературе – на введении в повествование «человека со стороны», свободного от обязательств перед обществом и от тех его условностей, что для членов этого общества имеют силу «естественных и разумных законов».

«Все напоказ. Все притворство. Или подлость» – так оценивает герой-рассказчик свою бывшую школу, а с ней и тот социальный круг, в котором обитают его соученики, знакомые, родственники и он сам. Идеалы и цели, которыми руководствуются окружающие, образ жизни, который они ведут, в глазах Холдена «сплошная липа». Он не знает, как жить и во что верить. Понятно лишь одно: жить, как все, он не хочет и не может.

«Нормальное», деловое общество, поглощенное сиюминутными интересами, соображениями выгоды, престижа, материального успеха, получает от «бездельника» Холдена нелепые вопросы вроде того, куда деваются утки в Центральном парке, когда зимой замерзает пруд. Окружающие и знать не желают про этих уток, ясно давая понять вопрошающему, что есть в жизни заботы и поважнее. Отчасти это так – но только отчасти: равнодушие собеседников Холдена к уткам для автора знак более общей ситуации агрессивного неприятия «организованным обществом» всего того, что не отвечает соображениям целесообразности и утилитарной пользы.

И поклонники повести, и ее недруги почти единодушно объявили Холдена Колфилда бунтарем, чуть ли не борцом против социального устройства. Почему? Ведь фабула повести для подобных заключений дает мало оснований. Неужели весь бунт состоит в том, что герой покидает школу, из которой его успели исключить? И следует ли усматривать положительную программу его деятельности в наивной мечте «стеречь ребят над пропастью во ржи»? Вряд ли. Эта мечта возникла в его сознании столь же внезапно, как внезапно и невзначай была услышана – и перепутана – строчка из стихотворения Бернса, ставшая своего рода катализатором мечты.

Героизация образа бездельника и неудачника Холдена в глазах многих американцев станет отчасти понятной, если вспомнить некоторые положения книги американского социолога Дэвида Ризмена «Толпа одиноких», посвященной проблеме личности в капиталистическом обществе и вышедшей почти одновременно с романом Сэлинджера – в 1950 году. Ризмен указал на серьезные различия между типом личности, доминировавшим в эпоху становления капитализма, и массовым человеком современного «общества потребления». В период формирования капиталистических отношений высоко ценился тот, кто умел ставить перед собой цели и во что бы то ни стало добиваться их осуществления. Чтобы преуспеть, этот, по терминологии Ризмена, «управляемый изнутри» человек должен был обладать волей, энергией, мужеством, самостоятельностью. В «массовом» (читай государственно-монополистическом) обществе подобные «активные» качества скорее мешают. От нынешнего «героя эпохи» – «управляемого другими» – требуются совсем иные добродетели, и прежде всего – искусство ладить, подчинять вкусы, желания, стремления интересам организации или общественной группы, к которой он принадлежит. Таким образом, наибольшие шансы преуспеть получает конформист, а приверженность личному кодексу – нравственному, религиозному, деловому – выглядит смешным или даже опасным анахронизмом. Чтобы успешно функционировать, этот винтик новейшей конструкции, исполнитель чужой воли и потребитель «готовой» идеологической продукции должен оперативно развивать в себе качества, которые диктует сложившаяся ситуация. Так рождается человек, у которого есть некий «полезный вакуум», то вырабатывающий, то уничтожающий качества, запросы, убеждения, причем чем искреннее он сыграет очередную роль, уверив себя, что это не роль, а его суть, тем больше у него шансов на успех.

Холден Колфилд был воспринят американцами (в том числе и теми, кто не читал Ризмена и не был знаком с его терминологией) как «управляемый изнутри» в мире тех, кто «управляется другими». В этом и секрет его обаяния, и опасная

ненадежность положения. Любопытно, кстати, что воспевающий нонконформизм роман Сэлинджера попал в список бестселлеров и долгое время соперничал в популярности с вышедшим в том же году романом американского писателя Германа Вука «Мятеж на «Кейне», написанном с диаметрально противоположных позиций, – автор затратил немало усилий и страниц, доказывая пагубность действий по собственному почину и высокую доблесть исполнения долга и подчинения начальству, даже если оно далеко от совершенства.

Эта неожиданно случившаяся «полемика бестселлеров» весьма показательна для духовного климата Америки тех лет. На фоне «умеренности и аккуратности» американской литературы эпохи «холодной войны» и маккартизма (в историю США эти годы войдут как «молчаливые пятидесятые») повесть Сэлинджера читалась как осуждение социальной апатии и бездумного конформизма. Общественная ситуация, в которой живое слово, самостоятельное суждение или поступок казались актом отваги или просто безумием, приучила американских читателей той поры чутко реагировать на все, что не совпадало с официальной линией. Не удивительно, что в таких условиях повесть Сэлинджера восприняли как протест, а в неудачнике Холдене в те годы видели бунтаря, героя в полном смысле слова. Но герои, как известно, – деятели. Холден Колфилд же на поступок трагически не способен. Даже на самый пустяковый. Не случайно в начале повести Сэлинджер заставит героя слепить снежок: Холден будет долго выбирать цель, да так и не выберет, а в конце концов по требованию кондуктора будет вынужден просто выбросить снежок на землю. По этой модели построены и дальнейшие действия Холдена. Ему не сидится на месте, ему то и дело хочется что-то предпринять, но его лихорадочная активность заканчивается ничем, за всякой попыткой положительного действия – комическая или печальная невозможность его совершить. Поедет капитаном школьной фехтовальной команды – забудет в метро снаряжение, подведет товарищей. Гордо распрощается со своими бывшими соучениками – «Спокойной ночи, кретины», – но тут же поскользнется на ореховой скорлупе и чуть не свернет себе шею. Напишет по просьбе болвана Стрэдлейтера сочинение – но не на тему, а потом, обидевшись на непонятливость заказчика, изорвет написанное. Купит сестренке Фиби ее любимую пластинку – нечаянно разобьет, вручит одни осколки. И так всегда и во всем. Только в мечте Холден – хозяин положения. Только в воображении он способен лихо расправиться с подлецом-лифтером Морисом, дать выход запасам нежности и доброты («стеречь ребят над пропастью»), наладить правильные отношения с опротивевшим обществом (притвориться глухонемым, по старой американской традиции бежать на Запад, жить в лесу и т. д.). В реальности же все идет кувырком. Окружающий мир словно мстит

своему юному критику за высокомерие, совершенно не подчиняясь ему. Увы, по всем признакам бунтарь больше походит на жертву.

Читатели легко прощали Холдену его изъяны – за откровенность, за благие намерения, за нелюбовь к «липе». Но ограничиться таким благодушным пониманием Холдена – значит недопустимо все упростить. В американской цивилизации и впрямь достаточно «липы», но свободен ли от нее сам Холден? Его объявляли наследником твеновского Гекльберри Финна, но различия между ними велики, и сравнение получается не в пользу героя Сэлинджера. Полуграмотный оборванец Гек уважал писанные и неписанные законы своего общества, но когда дошло до дела, то оказалось, что для него легче пойти против этих законов («Ну что ж, пускай я попаду в ад», – говорит он себе, решив не выдавать негра Джима хозяйке), чем против совести. Скептический, ироничный, очень неглупый Холден Колфилд камня на камне не оставляет от общества, но наперекор ему идет только в воображении. «Бунтарство» Холдена манило аплодировавших ему юных средних американцев еще по одной причине, в которой признаться было нелегко: это был удивительно приятный бунт, без тех опасных последствий, которыми чревато истинное бунтарство. Сэлинджеру весьма симпатичен Холден, но в то же время его похождения изображены не без изрядной доли иронии. Слишком уж с комфортом бунтует герой: катается на такси, ходит в театр, посиживает в барах да еще кокетливо-доверительно признается читателям, что он «ужасный мот». Да и «добунтовывать» его, поистратившегося, автор заставляет на рождественские сбережения младшей сестры (впрочем, послушать их с Фиби разговоры – так ведь не угадаешь сразу, кто из них старше, взрослей, мудрей).

Изображая «восстание против липы» Холдена, Сэлинджер оказался трезвее и аналитичнее пришедших в литературу вскоре после него битников, предтечей и вдохновителем которых его порой называли. Битники относились к себе и своим персонажам уже без малейшей иронии, громогласно рекламируя гордый разрыв с миром мещанских добродетелей, хотя смелость этих бунтарей – в этом, правда, разобрались не сразу – была очень и очень проблематичной.

Мир, в котором неприкаянно блуждает Холден в своей красной охотничьей шапке – что это, шутовской колпак или, если вспомнить название повести С. Крейна, алый знак доблести? – очень сложен и всегда готов сыграть злую шутку с тем, кто этого не понимает. Понимание, кстати, вообще редкость в мире героев Сэлинджера. Особенно наглядно это проявилось в знаменитой сцене посещения Холденом своего бывшего учителя мистера Антолини. Холдена,

наверное, можно упрекнуть за то, что он не прислушался к словам учителя – в самом неподходящем месте он зевает, а чуть позже, заподозрив мистера Антолини в «дурных намерениях», опрометью бежал среди ночи куда глаза глядят, в глубине души понимая, что совершает глупость. Формально-то учитель прав, беда лишь в том, что в тот момент измученный и задерганный гость менее всего нуждался в разумных советах и более всего – в молчаливом сочувствии, в отдыхе. Увлеченный собственным же красноречием (не случайно это качество так раздражало вообще-то очень уважавшего его Холдена), мистер Антолини не заметил состояния своего собеседника. Заговорился. Когда же он проявил запоздалое внимание и заботливость, в свою очередь Холден не понял его жеста. Может быть, на этом эпизоде не стоило бы останавливаться так подробно, если бы он не заключал в себе модель отношений, в том или ином виде часто повторяющуюся в новеллах и повестях Сэлинджера.

Движение повести – это медленное освобождение от поверхностного отношения к жизни. Мечта Холдена о побеге на Запад и «осуществлении гармонии» иронически претворится в жизнь его вынужденным отъездом в калифорнийский санаторий-клинику, откуда, собственно, и ведет он рассказ о своих злоключениях. Другая его мечта – оберегать детей от пропасти – при ближайшем рассмотрении тоже теряет свое идиллическое содержание. Критики эту пропасть расшифровали как «пропасть повзросления». Но спастись от повзросления – сомнительное благодеяние. Кажется, это прочувствовал и сам Холден. На последних страницах повести, наблюдая за детишками на карусели, которые, пытаясь поймать золотое кольцо, рискуют упасть, он произнесет монолог о недопустимости вмешательства в их игру, в их мир: «Упадут так упадут». Это истина тем более ценная, что набрел на нее герой не чужим умом, не советами красноречивого мистера Антолини, а собственным опытом. Холден понятия не имеет, как станет жить дальше, ему пока нечего ответить настырному психоаналитику, желающему знать, будет ли он «стараться», когда снова поступит в школу. Важно не это: на смену былому раздражению по любому поводу – и по пустякам, и по действительно серьезным причинам – приходит спокойствие. Любовь к категорическим суждениям, похоже, начинает уступать место внимательному вглядыванию в реальную действительность со всеми ее качествами – и дурными, и хорошими. Вглядыванию в окружающих его людей – их теперь этому, казалось бы, неисправимому эгоцентрику, по его собственному признанию, «как-то не хватает». Начав с тотального осуждения, он учится понимать.

В 1953 году Сэлинджер выпускает сборник «Девять рассказов». Из нескольких десятков рассказов он отобрал только то, что было ему важно и близко, отбросив

все остальное. Сложный, тонкий мир личности – и не менее сложная действительность, их постоянное взаимодействие и взаимоотталкивание – на таком контрапункте строятся лучшие новеллы писателя. Внимание к малейшим нюансам движений души, удивительная наблюдательность и точность в передаче человеческих отношений «заражают» читателя, обращают его к собственным проблемам, мечтам, страхам, надеждам. Это создало Сэлинджеру репутацию исповедального писателя, своеобразного лирика в прозе. При этом как-то упускали из виду неуловимость позиций автора, крайне редко выражавшего свое отношение к изображаемому «открытым текстом». Заметим, что мало кто из писателей, работавших в традиционной манере, удостоивался такого количества взаимоисключающих интерпретаций. Постоянно стремясь к многозначности, Сэлинджер нагружал значением, казалось бы, случайные предметы и явления, искал противоречия там, где другие видели цельность и единство. Он порой подвергал ироническому снижению или опровержению то, что по внешней логике повествования следовало принимать вполне однозначно. Откровенный разговор, только-только наладившийся между рассказчиком и читателем, может нежданно-негаданно прерваться на самом интересном месте, и читатель, так и не получив желанных разъяснений, остается один на один с загадкой, которую решать приходится самому.

Контакты между обитателями «страны Сэлинджера» затруднены, нарушены или вовсе отсутствуют. Единственный человек на свете, с кем Симор Гласс («Хорошо ловится рыбка-бананка») может говорить естественно, – маленькая девочка. Ей – а через нее всем остальным – расскажет он сказку о рыбках-бананках. Крошка Сибилла переживает историю о жизни и смерти этих загадочных существ всерьез. Она права – это и правда очень серьезная и грустная история. Для Симора эта сказка единственно возможная форма исповеди, косвенного – иначе не получается – выражения своего состояния. В глазах нормальных средних граждан Симор Гласс просто помешан и нуждается в услугах психолога. Существует, однако, другой вид безумия, на который недвусмысленно указывает Сэлинджер, хоть и нигде не называет его открыто. Классическое помешательство характеризуется, как известно, гипертрофией внутреннего мира личности, переставшей соотносить свои представления с реальностью. XX век остро ощутил тревожные последствия душевного расстройства иного свойства. Этот новейший вид безумия заключается в вытеснении личного и неповторимого набором стандартных – «как у всех» – понятий, реакций, представлений. Таким недугом поражены родственники Мюриель Феддер, невесты, а затем и жены Симора («Хорошо ловится рыбка-бананка» и «Выше стропила, плотники»), капрал Клей, его подруга Лоретта и брат рассказчика, любитель «военных сувениров» («Дорогой Эсме с любовью – и всякой

мерзостью»), и многие другие. Девяносто семь агентов по рекламе, оккупировавших телефон («Хорошо ловится рыбка-бананка»), – полномочные представители этого мира, где вещи важнее – и реальнее – людей.

Герой «Голубого периода де Домье-Смита» глядит на витрину ортопедической мастерской и размышляет: «Как бы спокойно, умно и благородно я ни научился жить, все равно до самой смерти я... обречен бродить чужестранцем по саду, где растут одни эмалированные горшки и подкладные судна...» В этот «сад вещей» – потребительский рай – открыт доступ всем желающим, но лишь немногие понимают, каким печальным может стать пребывание в нем.

Внешне здоровый и разумный, а в основе своей совершенно ненормальный мир буржуазности тяготит героев Сэлинджера. Размышляя над надписью «...жизнь – это ад», сделанной на книге Геббельса читательницей-нацисткой, сержант Икс пишет в ответ слова старца Зосимы из «Братьев Карамазовых»: «Что есть ад?..». Страдание о том, что нельзя уже более любить». Буржуазная реальность всем ходом своего развития – будь то крайние формы войны или обманчиво безмятежные периоды сытости и процветания – направлена на то – в этом уверены и автор, и его герой, – чтобы истребить в мире любовь. Сержанту Икс повезло больше других.

Встреченная им девочка Эсме оказалась способной на добрый поступок – именно на поступок, – что с таким трудом давалось (или не давалось вовсе) героям Сэлинджера. Часы погибшего на войне отца Эсме, посланные ей сержанту «на счастье», оказались чудесным лекарством, сумевшим победить «банановую лихорадку» и помочь герою восстановить связь с миром и самим собой. Этот рассказ – из немногих у Сэлинджера, где «хорошее», подлинное начало хоть на время, но победило «липу» – силы разобщенности и распада.

Чаще получалось наоборот. Мир детства, эта заповедная для писателя территория любви и добра, постоянно находится под угрозой вторжения со стороны злых сил мира взрослых («В лодке», «Лапа-растяпа», «Человек, который смеялся»). Конец блаженного неведения, крушение увлекательной романтики детства с ее наивной и трогательной мифологией – тема рассказа «Человек, который смеялся». Сталкиваясь со взрослой реальностью, юные герои Сэлинджера недоумевают, страдают, вроде бы ничего не могут противопоставить «липе», но своим присутствием согревают мир.

Сэлинджера, наверное, нельзя назвать социальным писателем по преимуществу. Прямых выпадов в адрес общественного устройства, как в рассказе «Грустный мотив», у него немного. Вместе с тем творческие искания Сэлинджера как раз определяются его серьезными разногласиями и с постулатами официальной американской идеологии, и с некоторыми важными положениями западной интеллектуальной традиции. Об увлечении Сэлинджера религией и философией Востока (прежде всего дзен-буддизмом) писалось и говорилось достаточно, особенно в связи с его поздними произведениями из цикла о Глассах [1 - Подробнее об этом см.: Галинская И. Философские и эстетические основы поэтики Сэлинджера. М., Наука, 1975. Завадская Е. Культура Востока в современном западном мире. М., Наука, 1977, и др.]. Творчество Сэлинджера – и, кстати, не только позднее – имеет соприкосновение с поэтикой дзен. Недосказанность, отсутствие однозначных авторских указаний в рассказах и повестях Сэлинджера заставляют вспомнить важный для искусства дзен принцип равенства творческой активности создающего и воспринимающего эстетический объект. Увидеть, правильно истолковать смысл произведения – не меньшая доблесть, чем его создать. С другой стороны, идея эстетического восприятия как сотворчества – отнюдь не новинка для любителей искусства за пределами Востока. Искусство дзен исходит из неисчерпаемости мира и, как следствие, неизбежного разрыва между изображаемым и изображенным. В поисках наиболее адекватных способов отражения мира искусством художники Востока изображали сложное через внешне простое, но при более внимательном взгляде открывающее неожиданные глубины. Опыт искусства Востока уже давно привлекал внимание и художников Запада, боровшихся с неподатливой, скрывающей свои секреты действительностью.

Постулаты дзен-буддизма стали для Сэлинджера способом критики американской современности. В дзен Сэлинджер видел союзника в борьбе против рационально-умозрительного отношения к миру, против присущего западной философской традиции системосозидания, когда в расчет берется абстрактный человек, а его живой, противоречивый, многомерный прототип выпадает из поля зрения. Устами юного вундеркинда Тедди из одноименного рассказа Сэлинджер осуждает слепоту западного типа сознания, не способного «видеть вещи такими, какие они на самом деле». Но какие же они все-таки на самом деле? Призыв к истинному взгляду похвален, беда только, что истинное здесь никак не связано с конкретно-историческим. По Тедди, подлинная мудрость не имеет ничего общего ни с логикой, ни с точным знанием, он за то, чтобы отучить людей от увлечения «яблоками с древа познания»: надо забыть про несущественные различия между вещами и явлениями (а значит, и между добром и злом в привычном понимании), надо принять мир целиком, слиться с

ним. В отличие от большинства нервных, мятущихся персонажей Сэлинджера, Тедди, отбросив логику, а с ней и эмоции, обрел умиротворенность. Но за этой умиротворенностью – равнодушие к тому, что происходит вокруг. От неискушенной в метафизических тонкостях Эсме исходило добро и теплота, от Тедди веет холодом: к людям он относится с тем же вежливым и сдержанным любопытством, с каким смотрит на апельсиновые корки, проплывающие мимо окна каюты. Сэлинджер и в этом рассказе избегает прямых оценок, поэтому о его симпатиях к Тедди можно говорить с известной гипотетичностью, но «антизападная» отрешенность от мира этого вундеркинда нет-нет да проявит загадочное сходство с добрым старым эгоцентризмом, от которого страдают очень многие литературные герои Запада нашего времени.

Тедди выше тревог и сомнений. Субъективно он счастлив. Объективно – нелеп и даже трагичен. Ребенок без детства, он существует для других как объект потребления – как научная загадка, курьез природы, его изучают специалисты, на него смотрят как на интересную диковинку. Холодным и безжизненным предстает в этом рассказе мир детства. Раньше у Сэлинджера дети спасали мир. Теперь они «ненавидят всех на этом океане», как сестра героя, или, как Тедди, замкнулись в себе. Развязка новеллы оставляет в недоумении – что же, собственно, случилось? Автор решительно не желает помочь читателям, но, так или иначе, пронзительный детский крик в финале – сигнал серьезного неблагополучия в мире, где одни слишком увлечены сиюминутностью, а другие слишком от нее отрешены.

«Очень сложно предаваться размышлениям и жить духовной жизнью в Америке» – эти слова Тедди мог бы повторить и Симор Гласс, еще один кандидат в идеальные герои. Сделав названием повести «Выше стропила, плотники» строку из эпиграммы Сафо, Сэлинджер выдвинул свой – иронический – вариант современной свадебной песни. Непредвиденные обстоятельства, возникшие при заключении брачного союза Симора с Мюриель, читаются как указания на опасности, что ждут неординарную личность, желающую «заключить союз» с обществом. Рассказчик явно на стороне Симора, провидца сущностей и поэта, и с неприязнью относится к миру пошлости и мещанства, олицетворяемому родственниками невесты. Здесь, однако, рождается противоречие, разрешить которое Сэлинджеру не удастся ни в этой повести, ни тем более в заключительных произведениях «саги о Глассах». Сочувствуя утонченным Глассам, трудно вместе с тем согласиться, что пошляки – родственники невесты – вся Америка, и уж тем более – весь мир. Так же трудно отделаться от мысли, что и материальное благополучие, и интеллектуальная независимость Глассов – результат тесного сотрудничества с раздражающим их обществом: с малых лет

они выступали в пошлой, но хорошо оплачиваемой радиосерии «Умные ребята», зарабатывая на жизнь и обучение в школах и колледжах. Существовать за счет презираемого общества, на словах провозглашая его неприятие и в то же самое время ощущая свою полную от него зависимость, – знакомая позиция западного либерального интеллигента, но ироническое освещение тягот подобного удела в поздних произведениях Сэлинджера возникает, похоже, вопреки намерениям автора.

Остро переживая бесперспективность и безжизненность ориентиров и идеалов, которыми привыкли вдохновляться его соотечественники, Сэлинджер изобразил мучительный процесс утраты веры и напряженные поиски новых ценностей. Однако его находки – замена западных символов веры на буддийские – трудно признать удачными. И он, и его герои Глассы понимают, что даже сверходаренная личность не может жить и работать, совершенно игнорируя других, а раз так, то необходимо искать пути к людям. В годы радиокарьеры герой без страха и упрека Симор Гласс (не правда ли, странное сочетание в сэлинджеровских «идеальных личностях» высокой естественности по сути и актерства по профессии?) требовал от своих партнеров играть с полной отдачей «для Толстухи», той безымянной слушательницы, для которой эта передача, может быть, – из немногих радостей в жизни. Однако готовность «возлюбить Толстуху» как-то легко сочетается с неприязнью к тем вполне конкретным Толстухам, с которыми приходится сталкиваться в повседневности. Можно, конечно, упрекнуть того же Бадди, что он еще «не дорос» до симоровского всепримирения и всепрощения и напрасно так сердится на противных мещан, но трудно избавиться от ощущения, что провозглашенная Симором любовь ко всем, по сути дела, означает отсутствие серьезных обязательств по отношению к кому бы то ни было. Сержант Икс, призывая к любви, цитировал Достоевского. Раз уж русский писатель взят в союзники, уместно вспомнить его рассуждения, как нелегко добиться любви и братства в обществе, где процветает «начало единичное, личное, непрерывно обособляющееся, требующее с мечом в руках своих прав». Поиск прочных ценностей упирается у Сэлинджера и его героев в противоречие: единение и любовь – насущная необходимость и в то же время роковая невозможность в пределах их глубоко индивидуалистического мироощущения, возросшего на почве той самой буржуазности, которую они охотно осуждают.

В финале повести «Выше стропила, плотники» Бадди Гласс размышляет, не послать ли Симору «чистый листок бумаги вместо объяснения». Начиная с 1965 года поклонники Сэлинджера вынуждены довольствоваться подобными «чистыми листками». Согласно буддийскому учению, молчание – одна из высших

ступеней самопознания. В этом ли смысле понимать наступившее молчание Сэлинджера-художника? Или же это капитуляция перед неразрешимостью проблем, вставших перед ним и его героями? А может, за этим – убеждение в неадекватности творчества вообще как способа выражения того важного и сложного комплекса чувств, настроений, размышлений, что рождается в его внутреннем мире? Остается строить гипотезы. И снова возвращаться к тому, что написано Сэлинджером, остро ощутившим кризис американской идеологии, напряженно и самостоятельно искавшим иные – подлинные и одухотворяющие – ценности.

Сергей Белов

Над пропастью во ржи

1

Если вам на самом деле хочется услышать эту историю, вы, наверно, прежде всего захотите узнать, где я родился, как провел свое дурацкое детство, что делали мои родители до моего рождения, – словом, всю эту дэвидкопперфилдовскую муть. Но, по правде говоря, мне неохота в этом копать. Во-первых, скучно, а во-вторых, у моих предков, наверно, случилось бы по два инфаркта на брата, если б я стал болтать про их личные дела. Они этого терпеть не могут, особенно отец. Вообще-то они люди славные, я ничего не говорю, но обидчивые до чертиков. Да я и не собираюсь рассказывать свою автобиографию и всякую такую чушь, просто расскажу ту сумасшедшую историю, которая случилась прошлым Рождеством. А потом я чуть не отдал концы, и меня отправили сюда отдыхать и лечиться. Я и ему – Д. Б. – только про это и рассказывал, а ведь он мне как-никак родной брат. Он живет в Голливуде. Это не очень далеко отсюда, от этого треклятого санатория, он часто ко мне ездит, почти каждую неделю. И домой он меня сам отвезет – может быть, даже в будущем месяце. Купил себе недавно «Ягуар». Английская штучка, может делать двести миль в час. Выложил за нее чуть ли не четыре тысячи. Денег у

него теперь куча. Не то что раньше. Раньше, когда он жил дома, он был настоящим писателем. Может, слышали – это он написал мировую книжку рассказов «Спрятанная рыбка». Самый лучший рассказ так и называется – «Спрятанная рыбка». Там про одного мальчишку, который никому не позволял смотреть на свою золотую рыбку, потому что купил ее на собственные деньги. С ума сойти, какой рассказ! А теперь мой брат в Голливуде, совсем скурвился. Если я что ненавижу, так это кино. Терпеть не могу.

Лучше всего начну рассказывать с того дня, как я ушел из Пэнси. Пэнси – это закрытая средняя школа в Эгерстауне, штат Пенсильвания. Наверно, вы про нее слышали. Рекламу вы, во всяком случае, видели. Ее печатают чуть ли не в тысяче журналов – этаким хлюст, верхом на лошади, скачет через препятствия. Как будто в Пэнси только и делают, что играют в поло. А я там даже лошади ни разу в глаза не видал. И под этим конным хлюстом подпись: «С 1888 года в нашей школе выковывают смелых и благородных юношей». Вот уж липа! Никого они там не выковывают, да и в других школах тоже. И ни одного «благородного и смелого» я не встречал, ну, может, есть там один-два – и обчелся. Да и то они такими были еще до школы.

Словом, началось это в субботу, когда шел футбольный матч с Сэксон-холлом. Считалось, что для Пэнси этот матч важнее всего на свете. Матч был финальный, и, если бы наша школа проиграла, нам всем полагалось чуть ли не перевешаться с горя. Помню, в тот день, часов около трех, я стоял черт знает где, на самой горе Томпсона, около дурацкой пушки, которая там торчит, кажется, с самой войны за независимость. Оттуда видно было все поле и как обе команды гоняют друг дружку из конца в конец. Трибун я как следует разглядеть не мог, только слышал, как там орут. На нашей стороне орали во всю глотку – собралась вся школа, кроме меня, – а на их стороне что-то вякали: у приезжей команды народу всегда маловато.

На футбольных матчах всегда мало девчонок. Только старшеклассникам разрешают их приводить. Гнусная школа, ничего не скажешь. А я люблю бывать там, где вертятся девчонки, даже если они просто сидят, ни черта не делают, только почесываются, носы вытирают или хихикают. Дочка нашего директора, старика Термера, часто ходит на матчи, но не такая это девчонка, чтоб по ней с ума сходить. Хотя в общем она ничего. Как-то я с ней сидел рядом в автобусе, ехали из Эгерстауна и разговорились. Мне она понравилась. Правда, нос у нее длинный, и ногти обкусаны до крови, и в лифчик что-то подложено, чтоб торчало во все стороны, но ее почему-то было жалко. Понравилось мне то, что она тебе

не вкручивала, какой у нее замечательный папаша. Наверно, сама знала, что он трепло несусветное.

Не пошел я на поле и забрался на гору, так как только что вернулся из Нью-Йорка с командой фехтовальщиков. Я капитан этой вонючей команды. Важная шишка. Поехали мы в Нью-Йорк на состязание со школой Мак-Берни. Только состязание не состоялось. Я забыл рапиры, и костюмы, и вообще всю эту петрушку в вагоне метро. Но я не совсем виноват. Приходилось все время вскакивать, смотреть на схему, где нам выходить. Словом, вернулись мы в Пэнси не к обеду, а уже в половине третьего. Ребята меня бойкотировали всю дорогу. Даже смешно.

И еще я не пошел на футбол оттого, что собрался зайти к старику Спенсеру, моему учителю истории, попрощаться перед отъездом. У него был грипп, и я сообразил, что до начала рождественских каникул я его не увижу. А он мне прислал записку, что хочет меня видеть до того, как я уеду домой. Он знал, что я не вернусь.

Да, забыл сказать – меня вытурили из школы. После Рождества мне уже не надо было возвращаться, потому что я провалился по четырем предметам и вообще не занимался и все такое. Меня сто раз предупреждали – старайся, учись. А моих родителей среди четверти вызвали к старому Термеру, но я все равно не занимался. Меня и вытурили. Они много кого выгоняют из Пэнси. У них очень высокая академическая успеваемость, серьезно, очень высокая.

Словом, дело было в декабре, и холодно, как у ведьмы за пазухой, особенно на этой треклятой горке. На мне была только куртка – ни перчаток, ни черта. На прошлой неделе кто-то спер мое верблюжье пальто прямо из комнаты вместе с теплыми перчатками – они там и были, в кармане. В этой школе полно жулья. У многих ребят родители богачи, но все равно там полно жулья. Чем дороже школа, тем в ней больше ворюг. Словом, стоял я у этой дурацкой пушки, чуть зад не отморозил. Но на матч я почти и не смотрел. А стоял я там потому, что хотелось почувствовать, что я с этой школой прощаюсь. Вообще я часто откуда-нибудь уезжаю, но никогда и не думаю ни про какое прощание. Я это ненавижу. Я не задумываюсь, грустно ли мне уезжать, неприятно ли. Но когда я расстанусь с каким-нибудь местом, мне надо почувствовать, что я с ним действительно расстанусь. А то становится еще неприятней.

Мне повезло. Вдруг я вспомнил про одну штуку и сразу почувствовал, что я отсюда уезжаю навсегда. Я вдруг вспомнил, как мы однажды, в октябре, втроем – я, Роберт Тичнер и Пол Кембл – гоняли мяч перед учебным корпусом. Они славные ребята, особенно Тичнер. Время шло к обеду, совсем стемнело, но мы все гоняли мяч и гоняли. Стало уже совсем темно, мы и мяч-то почти не видели, но ужасно не хотелось бросать. И все-таки пришлось. Наш учитель биологии, мистер Зембизи, высунул голову из окна учебного корпуса и велел идти в общежитие, одеваться к обеду. Как вспомнишь такую штуку, так сразу почувствуешь: тебе ничего не стоит уехать отсюда навсегда – у меня, по крайней мере, почти всегда так бывает. И только я понял, что уезжаю навсегда, я повернулся и побежал вниз с горы, прямо к дому старика Спенсера. Он жил не при школе. Он жил на улице Энтони Уэйна.

Я бежал всю дорогу, до главного выхода, а потом переждал, пока не отдышался. У меня дыхание короткое, по правде говоря. Во-первых, я курю как паровоз, то есть раньше курил. Тут, в санатории, заставили бросить. И еще – я за прошлый год вырос на шесть с половиной дюймов. Наверно, от этого я и заболел туберкулезом и попал сюда на проверку и на это дурацкое лечение. А в общем, я довольно здоровый.

Словом, как только я отдышался, я побежал через дорогу на улицу Уэйна. Дорога вся обледенела до черта, и я чуть не грохнулся. Не знаю, зачем я бежал, наверно, просто так. Когда я перебежал через дорогу, мне вдруг показалось, что я исчез. День был какой-то сумасшедший, жуткий холод, ни проблеска солнца, ничего, и казалось, стоит тебе пересечь дорогу, как ты сразу исчезнешь навек.

Ух и звонил же я в звонок, когда добежал до старика Спенсера! Промерз я насквозь. Уши болели, пальцем пошевелить не мог. «Ну, скорей, скорей! – говорю чуть ли не вслух. – Открывайте!» Наконец старушка Спенсер мне открыла. У них прислуги нет и вообще никого нет, они всегда сами открывают двери. Денег у них в обрез.

– Холден! – сказала миссис Спенсер. – Как я рада тебя видеть! Входи, милый! Ты, наверно, закоченел до смерти?

Мне кажется, она и вправду была рада меня видеть. Она меня любила. По крайней мере, мне так казалось.

Я пулей влетел к ним в дом.

– Как вы поживаете, миссис Спенсер? – говорю. – Как здоровье мистера Спенсера?

– Дай твою куртку, милый! – говорит она. Она и не слышала, что я спросил про мистера Спенсера. Она была немножко глуховата.

Она повесила мою куртку в шкаф в прихожей, и я пригладил волосы ладонью. Вообще я ношу короткий ежик, мне причесываться почти не приходится.

– Как же вы живете, миссис Спенсер? – спрашиваю, но на этот раз громче, чтобы она услышала.

– Прекрасно, Холден. – Она закрыла шкаф в прихожей. – А ты-то как живешь?

И я по ее голосу сразу понял: видно, старик Спенсер рассказал ей, что меня выперли.

– Отлично, – говорю. – А как мистер Спенсер? Кончился у него грипп?

– Кончился? Холден, он себя ведет как... как не знаю кто!.. Он у себя, милый, иди прямо к нему.

2

У них у каждого была своя комната. Лет им было под семьдесят, а то и больше. И все-таки они получали удовольствие от жизни, хоть одной ногой и стояли в могиле. Знаю, свинство так говорить, но я вовсе не о том. Просто я хочу сказать, что я много думал про старика Спенсера, а если про него слишком много думать, начинаешь удивляться – за каким чертом он еще живет. Понимаете, он весь сгорбленный и еле ходит, а если он в классе уронит мел, так кому-нибудь с первой парты приходится нагибаться и подавать ему. По-моему, это ужасно. Но если не слишком разбираться, а просто так подумать, то выходит, что он вовсе не плохо живет. Например, один раз, в воскресенье, когда он меня и еще

нескольких других ребят угощал горячим шоколадом, он нам показал потрепанное индейское одеяло – они с миссис Спенсер купили его у какого-то индейца в Йеллоустонском парке. Видно было, что старик Спенсер от этой покупки в восторге. Вы понимаете, о чем я? Живет себе такой человек вроде старого Спенсера, из него уже песок сыплется, а он все еще приходит в восторг от какого-то одеяла.

Дверь к нему была открыта, но я все же постучался, просто из вежливости. Я видел его – он сидел в большом кожаном кресле, закутанный в то самое одеяло, про которое я говорил. Он обернулся, когда я постучал.

– Кто там? – заорал он. – Ты, Колфилд? Входи, мальчик, входи!

Он всегда орал дома, не то что в классе. На нервы действовало, серьезно.

Только я вошел – и уже пожалел, зачем меня принесло. Он читал «Атлантик мансли», и везде стояли какие-то пузырьки, пилюли, все пахло каплями от насморка. Тоску нагоняло. Я и вообще-то не слишком люблю больных. И все казалось еще унылее оттого, что на старом Спенсере был ужасно жалкий, потертый, старый халат – наверно, он его носил с самого рождения, честное слово. Не люблю я стариков в пижамах или в халатах. Вечно у них грудь наружу, все их старые ребра видны. И ноги жуткие. Видали стариков на пляжах, какие у них ноги белые, безволосые?

– Здравствуйте, сэр! – говорю. – Я получил вашу записку. Спасибо вам большое. – Он мне написал записку, чтобы я к нему зашел проститься перед каникулами; он знал, что я больше не вернусь. – Вы напрасно писали, я бы все равно зашел попрощаться.

– Садись вон туда, мальчик, – сказал старый Спенсер. Он показал на кровать.

Я сел на кровать.

– Как ваш грипп, сэр?

– Знаешь, мой мальчик, если бы я себя чувствовал лучше, пришлось бы послать за доктором! – Старик сам себя рассмешил. Он стал хихикать как сумасшедший.

Наконец отдышался и спросил: – А почему ты не на матче? Кажется, сегодня финал?

– Да. Но я только что вернулся из Нью-Йорка с фехтовальной командой.

Господи, ну и постель! Настоящий камень!

Он вдруг напустил на себя страшную строгость – я знал, что так будет.

– Значит, ты уходишь от нас? – спрашивает.

– Да, сэр, похоже на то.

Тут он начал качать головой. В жизни не видел, чтобы человек столько времени подряд мог качать головой. Не поймешь, оттого ли он качает головой, что задумался, или просто потому, что он уже совсем старикашка и ни хрена не понимает.

– А о чем с тобой говорил доктор Термер, мой мальчик? Я слышал, что у вас был долгий разговор.

– Да, был. Поговорили. Я просидел у него в кабинете часа два, если не больше.

– Что же он тебе сказал?

– Ну... всякое. Что жизнь – это честная игра. И что надо играть по правилам. Он хорошо говорил. То есть ничего особенного он не сказал. Все насчет того же, что жизнь – это игра и всякое такое. Да вы сами знаете.

– Но жизнь действительно игра, мой мальчик, а играть надо по правилам.

– Да, сэр. Знаю. Я все это знаю.

Тоже сравнили! Хорошая игра! Попадешь в ту партию, где классные игроки, – тогда ладно, куда ни шло, тут действительно игра. А если попасть на другую сторону, где одни мазилы, – какая уж тут игра? Ни черта похожего. Никакой

игры не выйдет.

– А доктор Термер уже написал твоим родителям? – спросил старик Спенсер.

– Нет, он собирается написать им в понедельник.

– А ты сам им ничего не сообщил?

– Нет, сэр, я им ничего не сообщил, увижу их в среду вечером, когда приеду домой.

– Как же, по-твоему, они отнесутся к этому известию?

– Как сказать... Рассердятся, наверно, – говорю. – Должно быть, рассердятся. Ведь я уже в четвертой школе учусь.

И я потрянул головой. Это у меня привычка такая.

– Эх! – говорю. Это тоже привычка – говорить «Эх!» или «Ух ты!», отчасти потому, что у меня не хватает слов, а отчасти потому, что я иногда веду себя совсем не по возрасту. Мне тогда было шестнадцать, а теперь мне уже семнадцать, но иногда я так держусь, будто мне лет тринадцать, не больше. Ужасно нелепо выходит, особенно потому, что во мне шесть футов и два с половиной дюйма, да и волосы у меня с проседью. Это правда. У меня на одной стороне, справа, миллион седых волос. С самого детства. И все-таки иногда я держусь, будто мне лет двенадцать. Так про меня все говорят, особенно отец. Отчасти это верно, но не совсем. А люди всегда думают, что они тебя видят насквозь. Мне-то наплевать, хотя тоска берет, когда тебя поучают – веди себя как взрослый. Иногда я веду себя так, будто я куда старше своих лет, но этого-то люди не замечают. Вообще ни черта они не замечают.

Старый Спенсер опять начал качать головой. И при этом ковырял в носу. Он старался делать вид, будто потирает нос, но на самом деле он весь палец туда запустил. Наверно, он думал, что это можно, потому что, кроме меня, никого тут не было. Мне-то все равно, хоть и противно видеть, как ковыряют в носу.

Потом он заговорил:

– Я имел честь познакомиться с твоей матушкой и с твоим отцом, когда они приезжали побеседовать с доктором Термером несколько недель назад. Они изумительные люди.

– Да, конечно. Они хорошие.

«Изумительные». Ненавижу это слово! Ужасная пошлятина. Мутит, когда слышишь такие слова.

И вдруг у старого Спенсера стало такое лицо, будто он сейчас скажет что-то очень хорошее, умное. Он выпрямился в кресле, сел поудобнее. Оказалось, ложная тревога. Просто он взял журнал с колен и хотел кинуть его на кровать, где я сидел. И не попал. Кровать была в двух дюймах от него, а он все равно не попал. Пришлось мне встать, поднять журнал и положить на кровать. И вдруг мне захотелось бежать к чертям из этой комнаты. Я чувствовал, сейчас начнется жуткая проповедь. Вообще-то я не возражаю, пусть говорит, но чтобы тебя отчитывали, а кругом воняло лекарствами и старый Спенсер сидел перед тобой в пижаме и халате – это уж слишком. Не хотелось слушать.

Тут и началось.

– Что ты с собой делаешь, мальчик? – сказал старый Спенсер. Он заговорил очень строго, так он раньше не разговаривал. – Сколько предметов ты сдавал в этой четверти?

– Пять, сэр.

– Пять. А сколько завалил?

– Четыре. – Я поерзал на кровати. На такой жесткой кровати я еще никогда в жизни не сидел. Английский я хорошо сдал, потому что я учил Беовульфа и «Лорд Рэндал, мой сын» и всю эту штуку еще в Хуттонской школе. Английским мне приходилось заниматься, только когда задавали сочинения.

Он меня даже не слушал. Он никогда не слушал, что ему говорили.

– Я провалил тебя по истории, потому что ты совершенно ничего не учил.

– Понимаю, сэр. Отлично понимаю. Что вам было делать?

– Совершенно ничего не учил! – повторил он. Меня злит, когда люди повторяют то, с чем ты сразу согласился. А он и в третий раз повторил: – Совершенно ничего не учил! Сомневаюсь, открывал ли ты учебник хоть раз за всю четверть. Открывал? Только говори правду, мальчик!

– Нет, я, конечно, просматривал его раза два, – говорю. Не хотелось его обижать. Он был помешан на своей истории.

– Ах, просматривал? – сказал он очень ядовито. – Твоя, с позволения сказать, экзаменационная работа вон там, на полке. Сверху, на тетрадях. Дай ее сюда, пожалуйста!

Это было ужасное свинство с его стороны, но я взял свою тетрадку и подал ему – больше ничего делать не оставалось. Потом я опять сел на эту бетонную кровать. Вы себе и представить не можете, как я жалел, что зашел к нему проститься!

Он держал мою тетрадь, как навозную лепешку или еще чего похуже.

– Мы проходили Египет с четвертого ноября по второе декабря, – сказал он. – Ты сам выбрал эту тему для экзаменационной работы. Не угодно ли тебе послушать, что ты написал?

– Да нет, сэр, не стоит, – говорю.

А он все равно стал читать. Уж если преподаватель решил что-нибудь сделать, его не остановишь. Все равно сделает по-своему.

– «Египтяне были древней расой кавказского происхождения, обитавшей в одной из северных областей Африки. Она, как известно, является самым большим материком в Восточном полушарии».

И я должен был сидеть и слушать всю эту несусветную чушь. Свинство, честное слово.

– «В наше время мы интересуемся египтянами по многим причинам. Современная наука все еще добивается ответа на вопрос – какие тайные составы употребляли египтяне, бальзамируя своих покойников, чтобы их лица не сгнивали в течение многих веков. Эта таинственная загадка все еще бросает вызов современной науке двадцатого века».

Он замолчал и положил мою тетрадку. Я почти что ненавидел его в эту минуту.

– Твой, так сказать, экскурс в науку на этом кончается, – проговорил он тем же ядовитым голосом. Никогда бы не подумал, что в таком древнем старикашке столько яду. – Но ты еще сделал внизу небольшую приписку лично мне, – добавил он.

– Да-да, помню, помню! – сказал я. Я заторопился, чтобы он хоть это не читал вслух. Куда там – разве его остановишь! Из него прямо искры сыпались!

– «Дорогой мистер Спенсер! – Он читал ужасно громко. – Вот все, что я знаю про египтян. Меня они почему-то не очень интересуют, хотя Вы читаете про них очень хорошо. Ничего, если Вы меня провалите, – я все равно уже провалился по другим предметам, кроме английского. Уважающий вас Холден Колфилд».

Тут он положил мою треклятую тетрадку и посмотрел на меня так, будто сделал мне сухую в пинг-понг. Никогда не прощу ему, что он прочитал эту чушь вслух. Если б он написал такое, я бы ни за что на свете вслух не прочел, слово даю. А главное, добавил-то я эту проклятую приписку, чтобы ему не было неловко меня проваливать.

– Ты сердишься, что я тебя провалил, мой мальчик? – спросил он.

– Что вы, сэра, ничуть! – говорю. Хоть бы он перестал называть меня «мой мальчик», черт подери!

Он бросил мою тетрадку на кровать. Но, конечно, опять не попал. Пришлось мне встать и подыгать ее. Я ее положил на «Атлантик мансли». Вот еще, охота была поминутно нагибаться.

– А что бы ты сделал на моем месте? – спросил он. – Только говори правду, мой мальчик.

Да, видно, ему было здорово не по себе оттого, что он меня провалил. Тут, конечно, я принялся наворачивать. Говорил, что я умственно отсталый, вообще кретин, что я сам на его месте поступил бы точно так же и что многие не понимают, до чего трудно быть преподавателем. И все в таком роде. Словом, наворачивал как надо.

Но самое смешное, что думал-то я все время о другом. Сам наворачиваю, а сам думаю про другое. Живу я в Нью-Йорке, и думал я про тот пруд, в Центральном парке, у Южного выхода: замерзает он или нет, а если замерзает, куда деваются утки? Я не мог себе представить, куда деваются утки, когда пруд покрывается льдом и промерзает насквозь. Может быть, подъезжает грузовик и увозит их куда-нибудь в зоопарк? А может, они просто улетают?

Все-таки у меня это хорошо выходит. Я хочу сказать, что я могу наворачивать что попало старику Спенсеру, а сам в это время думаю про уток. Занятно выходит, но когда разговариваешь с преподавателем, думать вообще не надо. И вдруг он меня перебил. Он всегда перебивает.

– Скажи, а что ты по этому поводу думаешь, мой мальчик? Интересно было бы знать. Весьма интересно.

– Это насчет того, что меня вытурили из Пэнси? – спрашиваю. Хоть бы он запахнул свой дурацкий халат. Смотреть неприятно.

– Если я не ошибаюсь, у тебя были те же затруднения и в Хуттонской школе, и в Элктон-хилле?

Он это сказал не только ядовито, но и как-то противно.

– Никаких затруднений в Элктон-хилле у меня не было, – говорю. – Я не проваливался, ничего такого. Просто ушел – и все.

– Разрешите спросить – почему?

- Почему? Да это длинная история, сэр. Все это вообще довольно сложно.

Ужасно не хотелось рассказывать ему – что да как. Все равно он бы ничего не понял. Не по его это части. А ушел я из Элктон-хилла главным образом потому, что там была одна сплошная липа. Все делалось напоказ – не продохнешь. Например, их директор, мистер Хаас. Такого подлого притворщика я в жизни не встречал. В десять раз хуже старика Термера. По воскресеньям, например, этот чертов Хаас ходил и жал ручки всем родителям, которые приезжали. И до того мил, до того вежлив – просто картинка. Но не со всеми он одинаково здоровался – у некоторых ребят родители были попроще, победнее. Вы бы посмотрели, как он, например, здоровался с родителями моего соседа по комнате. Понимаете, если у кого мать толстая или смешно одета, а отец ходит в костюме с ужасно высокими плечами и башмаки на нем старомодные, черные с белым, тут этот самый Хаас только протягивал им два пальца и притворно улыбался, а потом как начнет разговаривать с другими родителями – полчаса разливается! Не выношу я этого. Злость берет. Так злюсь, что с ума можно спятить. Ненавижу я этот проклятый Элктон-хилл.

Старый Спенсер меня спросил о чем-то, но я не расслышал. Я все думал об этом подлом Хаасе.

- Что вы сказали, сэр? – говорю.

- Но ты хоть огорчен, что тебе приходится покидать Пэнси?

- Да, конечно, немножко огорчен. Конечно... но все-таки не очень. Наверно, до меня еще не дошло. Мне на это нужно время. Пока я больше думаю, как поеду домой в среду. Видно, я все-таки кретин!

- Неужели ты совершенно не думаешь о своем будущем, мой мальчик?

- Нет, как не думать – думаю, конечно. – Я остановился. – Только не очень часто. Не часто.

- Призадумайся! – сказал старый Спенсер. – Потом призадумайся, когда будет поздно!

Мне стало неприятно. Зачем он так говорил – будто я уже умер? Ужасно неприятно.

– Непременно подумаю, – говорю, – я подумаю.

– Как бы объяснить тебе, мальчик, вдолбить тебе в голову то, что нужно? Ведь я помочь тебе хочу, понимаешь?

Видно было, что он действительно хотел мне помочь. По-настоящему. Но мы с ним тянули в разные стороны – вот и все.

– Знаю, сэр, – говорю, – и спасибо вам большое. Честное слово, я очень это ценю, правда!

Тут я встал с кровати. Ей-богу, я не мог бы просидеть на ней еще десять минут даже под страхом смертной казни.

– К сожалению, мне пора! Надо забрать вещи из гимнастического зала, у меня там масса вещей, а они мне понадобятся. Ей-богу, мне пора!

Он только посмотрел на меня и опять стал качать головой, и лицо у него стало такое серьезное, грустное. Мне вдруг стало жалко его до чертиков. Но не мог же я торчать у него весь век, да и тянули мы в разные стороны. И вечно он бросал что-нибудь на кровать и промахивался, и этот его жалкий халат, вся грудь видна, а тут еще пахнет гриппозными лекарствами на весь дом.

– Знаете что, сэр, – говорю, – вы из-за меня не огорчайтесь. Не стоит, честное слово. Все наладится. Это у меня переходный возраст, сами знаете. У всех это бывает.

– Не знаю, мой мальчик, не знаю...

Ненавижу, когда так бормочут.

– Бывает, – говорю, – это со всеми бывает! Правда, сэр, не стоит вам из-за меня огорчаться. – Я даже руку ему положил на плечо. – Не стоит! – говорю.

– Не выпьешь ли чашку горячего шоколада на дорогу? Миссис Спенсер с удовольствием...

– Я бы выпил, сэр, честное слово, но надо бежать. Надо скорее попасть в гимнастический зал. Спасибо вам огромное, сэр. Огромное спасибо.

И тут мы стали жать друг другу руки. Все это чушь, конечно, но мне почему-то сделалось ужасно грустно.

– Я вам черкну, сэр. Берегитесь после гриппа, ладно?

– Прощай, мой мальчик.

А когда я уже закрыл дверь и вышел в столовую, он что-то заорал мне вслед, но я не расслышал. Кажется, он орал «Счастливого пути!». А может быть, и нет. Надеюсь, что нет. Никогда я не стал бы орать вслед «Счастливого пути!». Гнусная привычка, если вдуматься.

3

Я ужасный лгун – такого вы никогда в жизни не видали. Страшное дело. Иду в магазин покупать какой-нибудь журнальчик, а если меня вдруг спросят куда, я могу сказать, что иду в оперу. Жуткое дело! И то, что я сказал старику Спенсеру, будто иду в гимнастический зал забирать вещи, тоже было вранье. Я и не держу ничего в этом треклятом зале.

Пока я учился в Пэнси, я жил в новом общежитии, в корпусе имени Оссенбергера. Там жили только старшие и младшие. Я был из младших, мой сосед – из старших. Корпус был назван в честь Оссенбергера, был тут один такой, учился раньше в Пэнси. А когда окончил, заработал кучу денег на похоронных бюро. Он их понастроил по всему штату – знаете, такие похоронные бюро, через которые можно хоронить своих родственников по дешевке – пять долларов с носа. Вы бы посмотрели на этого самого Оссенбергера. Ручаюсь, что он просто запихивает покойников в мешок и бросает в речку. Так вот, этот тип пожертвовал на Пэнси кучу денег, и наш корпус назвали в его честь. На первый

матч в году он приехал в своем роскошном «Кадиллаке», а мы должны были вскочить на трибунах и трубить вовсю, то есть кричать ему «Ура!». А на следующее утро в капелле он отгрохал речь часов на десять. Сначала рассказал пятьдесят анекдотов вот с такой бородищей, хотел показать, какой он молодчага. Сила. А потом стал рассказывать, как он в случае каких-нибудь затруднений или еще чего никогда не стесняется – станет на колени и помолится Богу. И нам тоже советовал всегда молиться Богу – беседовать с ним в любое время. «Вы, – говорит, – обращайтесь ко Христу просто как к приятелю. Я сам все время разговариваю с Христом по душам. Даже когда веду машину». Я чуть не сдох. Воображаю, как этот сукин сын переводит машину на первую скорость, а сам просит Христа послать ему побольше покойничков. Но тут во время его речи случилось самое замечательное. Он как раз дошел до середины, рассказывал про себя, какой он замечательный парень, какой ловкач, и вдруг Эдди Марсалла – он сидел как раз передо мной – пукнул на всю капеллу. Конечно, это ужасно, очень невежливо, в церкви, при всех, но очень уж смешно вышло. Молодец Марсалла! Чуть крышу не сорвал. Никто вслух не рассмеялся, а этот Оссенбергер сделал вид, что ничего не слышал, но старик Термер, наш директор, сидел рядом с ним на кафедре, и сразу было видно, что он-то хорошо слышал. Ух и разозлился он. Ничего нам не сказал, но вечером собрал всех на дополнительные занятия и произнес речь. Он сказал, что ученик, который так нарушил порядок во время службы, недостойн находиться в стенах школы. Мы пробовали заставить нашего Марсаллу дать еще залп во время речи старика Термера, но он был не в настроении. Так вот, я жил в корпусе имени этого Оссенбергера, в новом общежитии.

Приятно было от старика Спенсера попасть к себе в комнату, тем более что все были на футболе, а батареи в виде исключения хорошо грелись. Даже стало как-то уютно. Я снял куртку, галстук, расстегнул воротник рубашки, а потом надел красную шапку, которую утром купил в Нью-Йорке. Это была охотничья шапка с очень-очень длинным козырьком. Я ее увидел в окне спортивного магазина, когда мы вышли из метро, где я потерял эти чертовы рапиры. Заплатил всего доллар. Я ее надевал задом наперед – глупо, конечно, но мне так нравилось. Потом я взял книгу, которую читал, и сел в кресло. В комнате было два кресла. Одно – мое, другое – моего соседа, Уорда Стрэдлейтера. Ручки у кресел были совсем поломаны, потому что вечно на них кто-нибудь садился, но сами кресла были довольно удобные.

Читал я ту книжку, которую мне дали в библиотеке по ошибке. Я только дома заметил, что мне дали не ту книгу. Они мне дали «В дебрях Африки» Исаака Дайнсена. Я думал, дрянь, а оказалось интересно. Хорошая книга. Вообще я

очень необразованный, но читаю много. Мой любимый писатель – Д. Б., мой брат, а на втором месте – Ринг Ларднер. В день рождения брат мне подарил книжку Ринга Ларднера – это было еще перед поступлением в Пэнси. В книжке были пьесы – ужасно смешные, а потом рассказ про полисмена-регулирующего, он влюбляется в одну очень хорошенькую девушку, которая вечно нарушает правила движения. Но полисмен женат и, конечно, не может жениться на девушке. А потом девушка гибнет, потому что она вечно нарушает правила. Потрясающий рассказ. Вообще я больше всего люблю книжки, в которых есть хоть что-нибудь смешное. Конечно, я читаю всякие классические книги вроде «Возвращения на родину»<sup>[2]</sup> – «Возвращение на родину» – роман Томаса Гарди. (Примеч. пер.), и всякие книги про войну, и детективы, но как-то они меня не очень увлекают. А увлекают меня такие книжки, что как их дочитаешь до конца – так сразу подумаешь: хорошо, если бы этот писатель стал твоим лучшим другом и чтоб с ним можно было поговорить по телефону, когда захочется. Но это редко бывает. Я бы с удовольствием позвонил этому Дайнсону, ну и, конечно, Рингу Ларднеру, только Д. Б. сказал, что он уже умер. А вот, например, такая книжка, как «Время страстей человеческих» Сомерсета Моэма, – совсем не то. Я ее прочел прошлым летом. Книжка в общем ничего, но у меня нет никакого желания звонить этому Сомерсету Моэму по телефону. Сам не знаю почему. Просто не тот он человек, с которым хочется поговорить. Я бы скорее позвонил покойному Томасу Гарди. Мне нравится его Юстасия Вэй.

Значит, надел я свою новую шапку, уселся в кресло и стал читать «В дебрях Африки». Один раз я ее уже прочел, но мне хотелось перечитать некоторые места. Я успел прочитать всего страницы три, как вдруг кто-то вышел из душевой. Я и не глядя понял, что это Роберт Экли – он жил в соседней комнате. В нашем крыле на каждые две комнаты была общая душевая, и этот Экли врывался ко мне раз восемьдесят на дню. Кроме того, он один из всего общежития не пошел на футбол. Он вообще никуда не ходил. Странный был тип. Он был старшеклассник и проучился в Пэнси уже четыре года, но все его называли только по фамилии – Экли. Даже его сосед по комнате, Херб Гейл, никогда не называл его «Боб» или хотя бы «Эк». Наверно, и жена будет звать его «Экли» – если только он когда-нибудь женится. Он был ужасно высокий – шесть футов четыре дюйма, страшно сутулый, и зубы гнилые. Ни разу, пока мы жили рядом, я не видал, чтобы он чистил зубы. Они были какие-то грязные, заплесневелые, а когда он в столовой набивал рот картошкой или горохом, меня чуть не тошнило. И потом – прыщи. Не только на лбу или там на подбородке, как у всех мальчишек, – у него все лицо было прыщавое. Да и вообще он был противный. И какой-то подлый. По правде говоря, я не очень-то его любил.

Я чувствовал, что он стоит на пороге душевой, прямо за моим креслом, и смотрит, здесь ли Стрэдлейтер. Он ненавидел Стрэдлейтера и никогда не заходил к нам в комнату, если тот был дома. Вообще он почти всех ненавидел.

Он вышел из душевой и подошел ко мне.

– Привет! – говорит. Он всегда говорил таким тоном, как будто ему до смерти скучно или он до смерти устал. Он не хотел, чтобы я подумал, будто он зашел ко мне в гости. Он делал вид, будто зашел нечаянно, черт его дери.

– Привет! – говорю, но книгу не бросаю. Если при таком типе, как Экли, бросить книгу, он тебя замучает. Он все равно тебя замучает, но не сразу, если ты будешь читать.

Он стал бродить по комнате, медленно, как всегда, и трогать все мои вещи на столе и на тумбочке. Вечно он все вещи перетрагивает, пересмотрит. До чего же он мне действовал на нервы!

– Ну, как фехтованье? – говорит. Ему непременно хотелось помешать мне читать, испортить все удовольствие. Плевать ему было на фехтованье. – Кто победил – мы или не мы? – спрашивает.

– Никто не победил, – говорю, а сам не поднимаю головы.

– Что? – спросил он. Он всегда переспрашивал.

– Никто не победил. – Я покосился на него, посмотрел, что он там крутит на моей тумбочке. Он рассматривал фотографию девчонки, с которой я дружил в Нью-Йорке, ее звали Салли Хейс. Он эту треклятую карточку, наверно, держал в руках, по крайней мере, пять тысяч раз. И ставил он ее всегда не на то место. Нарочно – это сразу было видно.

– Никто не победил? – сказал он. – Как же так?

– Да я все это дурацкое снаряжение забыл в метро. – Голову я так и не поднял.

– В метро? Что за черт! Потерял, что ли?

– Мы не на ту линию сели. Все время приходилось вскакивать и смотреть на схему метро.

Он подошел, заслонил мне свет.

– Слушай, – говорю, – я из-за тебя уже двадцатый раз читаю одну и ту же фразу.

Всякий, кроме Экли, понял бы намек. Только не он.

– А тебя не заставят платить? – спрашивает.

– Не знаю и знать не хочу. Может, ты сядешь, Экли, детка, а то ты мне весь свет загородил.

Он ненавидел, когда я называл его «Экли, детка». А сам он вечно говорил, что я еще маленький, потому что мне было шестнадцать, а ему уже восемнадцать. Он бесился, когда я называл его «детка».

А он стал и стоит. Такой это был человек – ни за что не отойдет от света, если его просят. Потом, конечно, отойдет, но если его попросить, он нарочно не отойдет.

– Что ты читаешь? – спрашивает.

– Не видишь – книгу читаю.

Он перевернул книгу, посмотрел заголовок.

– Хорошая? – спрашивает.

– Да, особенно эта фраза, которую я все время читаю. – Я тоже иногда могу быть довольно ядовитым, если я в настроении. Но до него не дошло. Опять он стал ходить по комнате, опять стал цапать все мои вещи и даже вещи Стрэдлейтера. Наконец я бросил книгу на пол. Все равно при Экли читать невыносимо. Просто невозможно.

Я развалился в кресле и стал смотреть, как Экли хозяйничает в моей комнате. От поездки в Нью-Йорк я порядком устал, зевота напала. Но потом начал валять дурака. Люблю иногда подурачиться просто от скуки. Я повернул шапку козырьком вперед и надвинул на самые глаза. Я так ни черта не мог видеть.

- Увы, увy! Кажется, я слепну! - говорю я сиплым голосом. - О моя дорогая матушка, как темно стало вокруг.

- Да ты спятил, ей-богу! - говорит Экли.

- Матушка, родная, дай руку своему несчастному сыну! Почему ты не подаешь мне руку помощи?

- Да перестань ты, балда!

Я стал шарить вокруг, как слепой, не вставая. И все время сипел:

- Матушка, матушка! Почему ты не подаешь мне руку?

Конечно, я просто валял дурака. Мне от этого иногда бывает весело. А кроме того, я знал, что Экли злится как черт. С ним я становился настоящим садистом. Злил его изо всех сил, нарочно злил. Но потом надоело. Я опять надел шапку козырьком назад и развалился в кресле.

- Это чье? - спросил Экли. Он взял в руки наколенник моего соседа. Этот проклятый Экли все хватал. Он что угодно мог схватить - шнурки от ботинок, что угодно. Я ему сказал, что наколенник - Стрэдлейтера. Он его сразу швырнул к Стрэдлейтеру на кровать; взял с тумбочки, а швырнул нарочно на кровать.

Потом подошел, сел на ручку второго кресла. Никогда не сядет по-человечески, обязательно на ручку.

- Где ты взял эту дурацкую шапку? - спрашивает.

- В Нью-Йорке.

- Сколько отдал?

- Доллар.

- Обдули тебя. - Он стал чистить свои гнусные ногти концом спички. Вечно он чистил ногти. Странная привычка. Зубы у него были заплесневелые, в ушах - грязь, но ногти он вечно чистил. Наверно, считал, что он чистоплотный. Он их чистил, а сам смотрел на мою шапку. - В моих краях на охоту в таких ходят, понятно? В них дичь стреляют.

- Черта с два! - говорю. Потом снимаю шапку, смотрю на нее. Прищурил один глаз, как будто целюсь. - В ней людей стреляют, - говорю, - я в ней людей стреляю.

- А твои родные знают, что тебя вытурили?

- Нет.

- Где же твой Стрэдлейтер?

- На матче. У него там свидание. - Я опять зевнул. Зевота одолела. В комнате стояла страшная жара, меня разморило, хотелось спать. В этой школе мы либо мерзли как собаки, либо пропадали от жары.

- Знаменитый Стрэдлейтер, - сказал Экли. - Слушай, дай мне на минутку ножницы. Они у тебя близко?

- Нет, я их уже убрал. Они в шкафу, на самом верху.

- Достань их на минутку, а? У меня ноготь задрался, надо срезать.

Ему было совершенно наплевать, убрал ли ты вещь или нет, на самом верху она или еще где. Все-таки я ему достал ножницы. Меня при этом чуть не убило. Только я открыл шкаф, как ракетка Стрэдлейтера - да еще вместе с деревянным прессом! - упала прямо мне на голову. Так грохнула, ужасно больно. Экли чуть не помер, до того он хохотал. Голос у него визгливый, тонкий. Я для него снимаю чемодан, вытаскиваю ножницы - а он заливается. Таких, как Экли, хлебом не корми - дай ему посмотреть, как человека стукнуло по голове камнем или еще чем: он просто обхохочется.

– Оказывается, у тебя есть чувство юмора, Экли, детка, – говорю ему. – Ты этого не знал? – Тут я ему подал ножницы. – Хочешь, я буду твоим менеджером, устрою тебя на радио?

Я сел в кресло, а он стал стричь свои паршивые ногти.

– Может, ты их будешь стричь над столом? – говорю. – Стриги над столом, я не желаю ходить босиком по твоим гнусным ногтям. – Но он все равно бросал их прямо на пол. Отвратительная привычка. Честное слово, противно.

– А с кем у Стрэдлейтера свидание? – спросил он. Он всегда выпрашивал, с кем Стрэдлейтер водится, хотя он его ненавидит.

– Не знаю. А тебе что?

– Просто так. Не терплю я эту сволочь. Вот уж не терплю!

– А он тебя обожает! Сказал, что ты – настоящий принц! – говорю. Я часто говорю кому-нибудь, что он – настоящий принц. Вообще я часто валяю дурака, мне тогда не так скучно.

– Он всегда задирает нос, – говорит Экли. – Не выношу эту сволочь. Можно подумать, что он...

– Слушай, может быть, ты все-таки будешь стричь ногти над столом? – говорю. – Я тебя раз пятьдесят просил...

– Задирает нос все время, – повторил Экли. – По-моему, он просто болван. А думает, что умный. Он думает, что он – самый умный...

– Экли! Черт тебя дери! Будешь ты стричь свои паршивые ногти над столом или нет? Я тебя пятьдесят раз просил, слышишь?

Тут он, конечно, стал стричь ногти над столом. Его только и заставишь что-нибудь сделать, когда накричишь на него.

Я посмотрел на него, потом сказал:

- Ты злишься на Стрэдлейтера за то, что он говорил, чтобы ты хоть иногда чистил зубы. Он тебя ничуть не хотел обидеть! И сказал он не нарочно, ничего обидного он не говорил. Просто он хотел сказать, что ты чувствовал бы себя лучше и выглядел бы лучше, если б ты хоть изредка чистил зубы.

- А я не чищу, что ли? И ты туда же!

- Нет, не чистишь! Сколько раз я за тобой следил, не чистишь - и все!

Я с ним говорил спокойно. Мне даже его было жаль. Я понимаю, не очень приятно, когда тебе говорят, что ты не чистишь зубы.

- Стрэдлейтер не сволочь. Он не такой уж плохой. Ты его просто не знаешь, в этом все дело.

- А я говорю - сволочь. И воображала.

- Может, он и воображает, но в некоторых вещах он человек широкий, - говорю. - Это правда. Ты пойми. Представь себе, например, что у Стрэдлейтера есть галстук или еще какая-нибудь вещь, которая тебе нравится. Ну, например, на нем галстук, и этот галстук тебе ужасно понравился - я просто говорю к примеру. Знаешь, что он сделал бы? Он, наверно, снял бы этот галстук и отдал тебе. Да, отдал. Или знаешь, что он сделал бы? Он бы оставил этот галстук у тебя на кровати или на столе. В общем, он бы тебе подарил этот галстук, понятно? А другие - никогда.

- Черта лысого! - сказал Экли. - Будь у меня столько денег, я бы тоже дарил галстуки.

- Нет, не дарил бы! - Я даже головой покачал. - И не подумал бы, детка! Если б у тебя было столько денег, как у него, ты был бы самым настоящим...

- Не смей называть меня «детка»! Черт! Я тебе в отцы гожусь, дуралей!

- Нет, не годишься! - До чего он меня раздражал, сказать не могу. И ведь не упустит случая ткнуть тебе в глаза, что ему восемнадцать, а тебе только шестнадцать. - Во-первых, я бы тебя в свой дом на порог не пустил...

- Словом, не смей меня называть...

Вдруг дверь открылась и влетел сам Стрэдлейтер. Он всегда куда-то летел. Вечно ему было некогда, все важные дела. Он подбежал ко мне, похлопал по щекам - тоже довольно неприятная привычка - и спрашивает:

- Ты идешь куда-нибудь вечером?

- Не знаю. Возможно. А какая там погода - снег, что ли?

Он весь был в снегу.

- Да, снег. Слушай, если тебе никуда не надо идти, дай мне свою замшевую куртку на вечер.

- А кто выиграл? - спрашиваю.

- Еще не кончилось. Мы уходим. Нет, серьезно, дашь мне свою куртку, если она тебе не нужна? Я залил свою серую какой-то дрянью.

- Да, а ты мне всю растянешь, у тебя плечи черт знает какие, - говорю. Мы с ним почти одного роста, но он весил раза в два больше, и плечи у него были широченные.

- Не растяну! - Он подбежал к шкафу. - Как делишки, Экли? - говорит. Он довольно приветливый малый, этот Стрэдлейтер. Конечно, это притворство, но все-таки он всегда здоровался с Экли.

А тот только буркнул что-то, когда Стрэдлейтер спросил «Как делишки?». Экли не желал отвечать, но все-таки что-то буркнул - промолчать у него духу не хватило. А мне говорит:

- Ну, я пойду! Еще увидимся.

– Ладно! – говорю. Никто не собирался плакать, что он наконец ушел к себе.

Стрэдлейтер уже снимал пиджак и галстук.

– Надо бы побриться! – сказал он. У него здорово росла борода. Настоящая борода!

– А где твоя девочка?

– Ждет в том крыле, – говорит. Он взял полотенце, бритвенный прибор и вышел из комнаты. Так и пошел без рубашки. Он всегда расхаживал голый до пояса, считал, что он здорово сложен. И это верно, тут ничего не скажешь.

4

Делать мне было нечего, и я пошел за ним в умывалку потрепать языком, пока он будет бриться. Кроме нас, там никого не было, ребята сидели на матче. Жара была адская, все окна запотели. Вдоль стенки было штук десять раковин. Стрэдлейтер встал к средней раковине, а я сел на другую, рядом с ним, и стал открывать и закрывать холодный кран. Это у меня чисто нервное. Стрэдлейтер брился и насвистывал «Индийскую песню». Свистел он ужасно пронзительно и всегда фальшивил, а выбирал такие песни, которые и хорошему свистуну трудно высвистеть, – например «Индийскую песню» или «Убийство на Десятой авеню». Он любую песню мог исковеркать.

Я уже говорил, что Экли был зверски нечистоплотен. Стрэдлейтер тоже был нечистоплотен, но как-то по-другому. Снаружи это было незаметно. Выглядел он всегда отлично. Но вы бы посмотрели, какой он бритвой брился. Ржавая как черт, вся в волосах, в засохшей пене. Он ее никогда не мыл. И хоть выглядел он отлично, особенно когда наводил на себя красоту, но все равно он был нечистоплотный, уж я-то его хорошо знал. А наводить красоту он любил, потому что был безумно в себя влюблен. Он считал, что красивей его нет человека на всем Западном полушарии. Он и на самом деле был довольно красивый – это верно. Но красота у него была такая, что все родители, когда видели его портрет в школьном альбоме, непременно спрашивали: «Кто этот мальчик?»

Понимаете, красота у него была какая-то альбомная. У нас в Пэнси было сколько угодно ребят, которые, по-моему, были в тысячу раз красивей Стрэдлейтера, но на фото они выходили совсем не такими красивыми. То у них носы казались слишком длинными, то уши торчали. Я это хорошо знаю.

Я сидел на умывальнике рядом со Стрэдлейтером и то закрывал, то открывал кран. На мне все еще была моя красная охотничья шапка задом наперед. Ужасно она мне нравилась, эта шапка.

- Слушай! - сказал Стрэдлейтер. - Можешь сделать мне огромное одолжение?

- Какое? - спросил я. Особого удовольствия я не испытывал. Вечно он просил сделать ему огромное одолжение. Эти красивые ребята считают себя пупом земли и вечно просят сделать им огромное одолжение. Чудаки, право.

- Ты куда-нибудь идешь вечером? - спрашивает он.

- Может, пойду, а может, и нет. А что?

- Мне надо к понедельник прочесть чуть ли не сто страниц по истории, - говорит он. - Не напишешь ли ты за меня английское сочинение? Мне несдобровать, если я в понедельник ничего не сдам, потому и прошу. Напишешь?

Ну не насмешка ли? Честное слово, насмешка!

- Меня выгоняют из школы к чертям собачьим, а ты просишь, чтобы я за тебя писал какое-то сочинение! - говорю.

- Знаю, знаю. Но беда в том, что мне будет плохо, если я его не подам. Будь другом. А, дружище? Сделаешь?

Я не сразу ответил. Таких типов, как он, полезно подержать в напряжении.

- О чем писать? - спрашиваю.

– О чем хочешь. Любое описание. Опиши комнату. Или дом. Или какое-нибудь место, где ты жил. Что угодно, понимаешь? Лишь бы вышло живописно, черт его дери. – Тут он зевнул во весь рот. Вот от такого отношения у меня все кишки переворачивает! Понимаете – просит тебя сделать одолжение, а сам зевает вовсю! – Ты особенно не старайся! – говорит он. – Этот чертов Хартселл считает, что ты в английском собаку съел, а он знает, что мы с тобой вместе живем. Так ты уж не очень старайся правильно расставлять запятые и все эти знаки препинания.

От таких разговоров у меня начинается резь в животе. Человек умеет хорошо писать сочинения, а ему начинают говорить про запятые. Стрэдлейтер только так и понимал это. Он старался доказать, что не умеет писать исключительно из-за того, что не туда растыкивает запятые. Совсем как Экли – он тоже такой. Один раз я сидел рядом с Экли на баскетбольных состязаниях. Там в команде был потрясающий игрок, Хови Койл, он мог забросить мяч с самой середины точно в корзину, даже щита не заденет. А Экли всю игру бубнил, что у Койла хороший рост для баскетбола – и все, понимаете? Ненавижу такую болтовню!

Наконец мне надоело сидеть на умывальнике, я соскочил и стал отбивать чечетку, просто для смеху. Хотелось поразмяться – а танцевать чечетку я совсем не умею. Но в умывальнике пол каменный, на нем очень здорово отбивать чечетку. Я стал подражать одному актеру из кино. Видел его в музыкальной комедии. Ненавижу кино до чертиков, но ужасно люблю изображать актеров. Стрэдлейтер все время смотрел на меня в зеркало, пока брился. А мне только подавай публику. Я вообще люблю выставляться.

– Я сын самого губернатора! – говорю. Вообще я тут стал стараться. Ношусь по всей умывалке. – Отец не позволяет мне стать танцором. Он посылает меня в Оксфорд. Но чечетка у меня в крови, черт подери!

Стрэдлейтер захохотал. У него все-таки было чувство юмора.

– Сегодня – премьера обзора Зигфилда. – Я уже стал задыхаться. Дыхание у меня ни к черту. – Герой не может выступать! Пьян в стельку. Кого же берут на его место? Меня, вот кого! Меня – бедного, несчастного губернаторского сына!

– Где ты отхватил такую шапку? – спросил Стрэдлейтер. Он только сейчас заметил мою охотничью шапку.

Я уже запыхался и перестал валять дурака. Снял шапку, посмотрел на нее в сотый раз.

- В Нью-Йорке купил сегодня утром. Заплатил доллар. Нравится?

Стрэдлейтер кивнул.

- Шик, - сказал он. Он просто ко мне подлизывался, сразу спросил: - Слушай, ты напишешь за меня сочинение или нет? Мне надо знать.

- Будет время - напишу, а не будет - не напишу.

Я опять сел на умывальник рядом с ним.

- А с кем у тебя свидание? С Фитцджеральд?

- Какого черта! Я с этой свиньей давно не вожусь.

- Ну? Так уступи ее мне, друг! Seriously. Она в моем вкусе.

- Бери, пожалуйста! Только она для тебя старовата.

И вдруг просто так, без всякой причины, мне захотелось соскочить с умывальника и сделать дураку Стрэдлейтеру двойной нельсон. Сейчас объясню - это такой прием в борьбе, хватаешь противника за шею и ломаешь насмерть, если надо. Я и прыгнул. Прыгнул на него, как пантера!

- Брось, Холден, балда! - сказал Стрэдлейтер. Он не любил, когда валяли дурака. Тем более он брился. - Хочешь, чтоб я себе глотку перерезал?

Но я его не отпускал. Я его здорово сжал двойным нельсоном.

- Попробуй, - говорю, - вырвись из моей железной хватки!

- О черт! - Он положил бритву и вдруг вскинул руки и вырвался от меня. Он очень сильный. А я очень слабый. - Брось дуричь! - сказал он. Он стал бриться

второй раз. Он всегда бреется по второму разу, красоту наводит. А бритва у него грязная.

– С кем же у тебя свидание, если не с Фитцджеральд? – спрашиваю. Я опять сел рядом с ним на умывальник. – С маленькой Филлис Смит, что ли?

– Нет. Должен был встретиться с ней, но все перепуталось. Меня ждет подруга девушки Бэда Тоу. Погоди, чуть не забыл. Она тебя знает.

– Кто меня знает?

– Моя девушка.

– Ну да! – сказал я. – А как ее зовут? – Мне даже стало интересно.

– Сейчас вспомню... Да, Джин Галлахер.

Господи, я чуть не сдох, когда услышал.

– Джейн Галлахер! – говорю. Я даже вскочил с умывальника, когда услышал. Честное слово, я чуть не сдох! – Ну конечно, я с ней знаком! Позапрошлым летом она жила совсем рядом. У нее еще был такой огромный доберман-пинчер. Мы из-за него и познакомились. Этот пес бегал гадить в наш сад.

– Ты мне свет застишь, Холден, – говорит Стрэдлейтер. – Отойди к бесу, места другого нет, что ли?

Ох как я волновался, честное слово!

– Где же она? – спрашиваю. – Надо пойти с ней поздороваться. Где же она? В том крыле, да?

– Угу.

– Как это она меня вспомнила? Где она теперь учится – в Брин-Море? Она говорила, что, может быть, поступит туда. Или в Шипли, она говорила, что,

может быть, пойдет в Шипли. Я думал, что она учится в Шипли. Как это она меня вспомнила? – Я и на самом деле волновался, правда!

– Да почему я знаю, черт возьми! Встань, слышишь?

Я сидел на его поганом полотенце.

– Джейн Галлахер! – сказал я. Я никак не мог опомниться. – Вот так история!

Стрэдлейтер припомаживал волосы бриолином. Моим бриолином.

– Она танцует, – сказал я. – Занимается балетом. Каждый день часа по два упражнялась, даже в самую жару. Боялась, что у нее ноги испортятся – растолстеет и все такое. Я с ней все время играл в шашки.

– Во что-о-о?

– В шашки.

– Фу ты, дьявол, он играл в шашки!!!

– Да, она никогда не переставляла дамки. Выйдет у нее какая-нибудь шашка в дамки, она с места ее не сдвинет. Так и оставит в заднем ряду. Выстроит все дамки в последнем ряду и ни одного хода не сделает. Ей просто нравилось, что они стоят в последнем ряду.

Стрэдлейтер промолчал. Вообще такие вещи обычно никого не интересуют.

– Ее мать была в том же клубе, что и мы, – сказал я. – Я там носил клюшки для гольфа, подрабатывал. Я несколько раз носил ее матери клюшки. Она на девяти ямках била чуть ли не сто семьдесят раз.

Стрэдлейтер почти не слушал. Он расчесывал свою роскошную шевелюру.

– Надо было бы пойти поздороваться с ней, что ли, – сказал я.

– Чего ж ты не идешь?

– Я и пойду через минутку.

Он стал снова делать пробор. Причесывался он всегда битый час.

– Ее мать развелась с отцом. Потом вышла замуж за какого-то алкоголика, – сказал я. – Худой такой черт с волосатыми ногами. Я его хорошо помню. Всегда ходил в одних трусах. Джейн рассказывала, что он какой-то писатель, сценарист, что ли, черт его знает, но при мне он только пил как лошадь и слушал все эти идиотские детективы по радио. И бегал по всему дому голый. При Джейн, при всех.

– Ну? – сказал Стрэдлейтер. Тут он вдруг оживился, когда я сказал, что алкоголик бегал голый при Джейн. Ужасно распутная сволочь этот Стрэдлейтер.

– Детство у нее было страшное. Я серьезно говорю.

Но это его не интересовало, Стрэдлейтера. Он только всякой похабщиной интересовался.

– О черт! Джейн Галлахер! – Я никак не мог опомниться. Ну никак! – Надо бы хоть поздороваться с ней, что ли.

– Какого же черта ты не идешь? Стоит тут, болтает.

Я подошел к окну, но ничего не было видно, окна запотели от жары.

– Я не в настроении сейчас, – говорю. И на самом деле я был совсем не в настроении. А без настроения ничего делать нельзя. – Я думал, что она поступила в Шипли. Готов был поклясться, что она учится в Шипли. – Я походил по умывалке. – Понравился ей футбол? – спрашиваю.

– Да, как будто. Не знаю.

– Она тебе рассказывала, как мы с ней играли в шашки, вообще рассказывала что-нибудь?

- Не помню я. Мы только что познакомились, не приставай! - Стрэдлейтер уже расчесал свои роскошные кудри и складывал грязную бритву.

- Слушай, передай ей от меня привет, ладно?

- Ладно, - сказал Стрэдлейтер, но я знаю, что он ничего не передаст. Такие, как Стрэдлейтер, никогда не передают приветов.

Он пошел в нашу комнату, а я еще поторчал в умывалке, вспомнил старушку Джейн. Потом тоже пошел в комнату.

Стрэдлейтер завязывал галстук перед зеркалом, когда я вошел. Он полжизни проводил перед зеркалом. Я сел в свое кресло и стал на него смотреть.

- Эй, - сказал я, - ты ей только не говори, что меня вытурили.

- Не скажу.

У Стрэдлейтера была одна хорошая черта. Ему не приходилось объяснять каждую мелочь, как, например, Экли. Наверно, потому, что Стрэдлейтеру было на все плевать. А Экли - дело другое. Тот во все совал свой длинный нос.

Стрэдлейтер надел мою куртку.

- Не растягивай ее, слышишь? - сказал я. - Я ее всего раза два и надевал.

- Не растяну. Куда девались мои сигареты?

- Вон на столе... - Он никогда не знал, где что лежит. - Под твоим шарфом. - Он сунул сигареты в карман куртки - моей куртки.

Я вдруг перевернул свою красную шапку по-другому, козырьком вперед. Что-то я начинал нервничать. Нервы у меня вообще ни к черту.

- Скажи, а куда ты с ней поедешь? - спросил я. - Ты уже решил?

– Сам не знаю. Если будет время, поедem в Нью-Йорк. Она по глупости взяла отпуск только до половины десятого.

Мне не понравилось, как он это сказал, я ему и говорю:

– Она взяла отпуск только до половины десятого, потому что не разглядела, какой ты красивый и обаятельный, сукин ты сын. Если б она разглядела, она взяла бы отпуск до половины десятого утра!

– И правильно! – сказал Стрэдлейтер. Его ничем не подденешь. Слишком он воображает. – Брось темнить, – говорит, – напишешь ты за меня сочинение или нет? – Он уже надел пальто и собрался уходить. – Особенно не старайся, пусть только будет живописно, понял? Напишешь?

Я ему не ответил. Настроения не было. Я только сказал:

– Спроси ее, она все еще расставляет дамки в последнем ряду?

– Ладно, – сказал Стрэдлейтер, но я знал, что он не спросит. – Ну пока! – Он хлопнул дверью и смылся.

А я сидел еще с полчаса. Просто сидел в кресле, ни черта не делал. Все думал о Джейн и о том, что у нее свидание со Стрэдлейтером. Я так нервничал, чуть с ума не спятил. Я вам уже говорил, какой он похабник, сволочь такая.

И вдруг Экли опять вылез из душевой в нашу комнату. В первый раз за всю здешнюю жизнь я ему обрадовался. Отвлек меня от разных мыслей.

Сидел у меня до самого обеда, говорил про ребят, которых ненавидит, и ковырял громадный прыщ у себя на подбородке. Пальцами, без носового платка. Не знаю, был ли у этой скотины носовой платок. Никогда не видел у него платка.

По субботам у нас всегда бывал один и тот же обед. Считалось, что обед роскошный, потому что давали бифштекс.

Могу поставить тысячу долларов, что кормили они нас бифштексом потому, что по воскресеньям к ребятам приезжали родители, и старик Термер, вероятно, представлял себе, как чья-нибудь мамаша спросит своего дорогого сыночка, что ему вчера давали на обед, и он скажет – бифштекс. Все это жульничество. Вы бы посмотрели на эти бифштексы. Жесткие как подметка, нож не берет. К ним всегда подавали картофельное пюре с комками, а на сладкое – «рыжую Бетти», пудинг с патокой, только его никто не ел, кроме малышей из первых классов да таких, как Экли, которые на все накидывались.

После обеда мы вышли на улицу, погода была славная. Снег лежал на земле дюйма на три и все еще сыпал как оголтелый. Красиво было до чертиков. Мы начали играть в снежки и тусить друг друга. Ребячество, конечно, но всем стало очень весело.

Делать мне было нечего, и мы с моим приятелем, с Мэлом Броссаром из команды борцов, решили поехать на автобусе в Эгерстаун съесть по котлете, а может быть, и посмотреть какой-нибудь дурацкий фильм. Не хотелось весь вечер торчать дома. Я спросил Мэла – ничего, если Экли тоже поедет с нами? Я решил позвать Экли, потому что он даже по субботам никуда не ходил, сидел дома и давил прыщи. Мэл сказал, что это, конечно, ничего, хотя он и не в восторге. Он не очень любил этого Экли. Словом, мы пошли к себе одеваться, и, пока я надевал калоши и прочее, я крикнул Экли, не хочет ли он пойти в кино. Он меня слышал через душевую, но ответил не сразу. Такие, как он, сразу не отвечают. Наконец он появился, раздвинул занавеску душевой, стал на пороге и спрашивает, кто еще пойдет. Ему обязательно нужно было знать, кто да кто идет. Честное слово, если б он потерпел кораблекрушение и какая-нибудь лодка пришла его спасать, он, наверно, потребовал бы, чтоб ему сказали, кто гребет на этой самой лодке, – иначе он и не полез бы в нее. Я сказал, что едет Мэл Броссар. А он говорит:

– Ах, этот подонок... Ну ладно. Подожди меня минутку.

Можно было подумать, что он тебе делает величайшее одолжение.

Одевался он часов пять. А я пока что подошел к окну, открыл его настежь и слепил снежок. Снег очень хорошо лепился. Но я никуда не швырнул снежок, хоть и собрался его бросить. Сначала я хотел бросить в машину – она стояла через дорогу. Но потом передумал – машина вся была такая чистая, белая. Потом хотел залепить снежком в водокачку, но она тоже была чистая и белая. Так я снежок никуда и не кинул. Закрыл окно и начал его катать, чтоб он стал еще тверже. Я его еще держал в руках, когда мы с Броссаром и Экли сели в автобус. Кондуктор открыл дверцу и велел мне бросить снежок. Я сказал, что не собираюсь ни в кого кидать, но он мне не поверил. Никогда тебе люди не верят.

И Броссар и Экли уже видели этот фильм, так что мы съели по котлете, поиграли в рулетку-автомат, а потом поехали обратно в школу. Я не жалел, что мы не пошли в кино. Там шла какая-то комедия с Кэри Грантом – муть, наверно. А потом, я уж как-то ходил в кино с Экли и Броссаром. Они оба гоготали, как гиены, даже в несмешных местах. Мне и сидеть с ними рядом было противно.

Было всего без четверти десять, когда мы вернулись в общежитие. Броссар обожал бридж и пошел искать партнера. Экли, конечно, влез ко мне в комнату. Только теперь он сел не на ручку стрэдлейтеровского кресла, а плюхнулся на мою кровать, прямо лицом в подушку. Лег и завел волынку, монотонным таким голосом, а сам все время ковырял прыщи. Я раз сто ему намекал, но никак не мог от него отделаться. Он все говорил и говорил, монотонным таким голосом, про какую-то девчонку, с которой он путался прошлым летом. Он мне про это рассказывал раз сто, и каждый раз по-другому. То он с ней спутался в «Бьюике» своего кузена, то где-то в подъезде. Главное, все это было вранье. Ручаюсь, что он женщин не знал, это сразу было видно. Наверно, он и не дотрагивался ни до кого, честное слово. В общем, мне пришлось откровенно ему сказать, что мне надо писать сочинение за Стрэдлейтера и чтоб он выметался, а то я не могу сосредоточиться. В конце концов он ушел, только не сразу – он ужасно всегда канителится. А я надел пижаму, халат и свою дикую охотничью шапку и сел писать сочинение.

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

## Примечания

1

Подробнее об этом см.: Галинская И. Философские и эстетические основы поэтики Сэлинджера. М., Наука, 1975. Завадская Е. Культура Востока в современном западном мире. М., Наука, 1977, и др.

2

«Возвращение на родину» – роман Томаса Гарди. (Примеч. пер.)

----

Купить: [https://tellnovel.com/selindzher\\_dzherom/nad-propast-yu-vo-rzhi](https://tellnovel.com/selindzher_dzherom/nad-propast-yu-vo-rzhi)

надано

Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: [Купити](#)